

Михаил Смирнов

Пороги

Витьку Орлёнка, как говорится, с малых лет знала каждая собака в деревне. И не только в родной Ивановке, но и по всей округе. А Орлёнком обозвали, когда начал подрастать и стал походить на отца — молодца заезжато, усатого и чернобрового, смуглого и горбоносого, гордого красавца, который влюбился в деревенскую девчонку, и она ответила взаимностью, и родился он, Витька, — плод этой любви. Правда, развивался этот плод как-то не по-людски, можно сказать. Все нормальные люди, чекая шаг, стройными рядами шагали в сторону светлого будущего, а его тянуло поперёк пройти. Все вдоль, а он поперёк бежит. Так и шёл по жизни не со всеми, где всё было расписано на долгие годы вперёд, а своей дорогой: кривой, ухабистой и тернистой, а потому — тяжёлой...

Витька не любил попусту болтать. Говорил, что каждый человек обязан следить за своим языком, а не трепать что ни попадя, потому что язык — это самое настоящее зло и от него все беды. Не любил много разговаривать, а вот песни пел. В основном невесёлые. Выпьет рюмку-другую, усядется возле окна, подопрёт щёку татуированной рукой и начинает петь. Всякие песни, но в основном тоскливые, про судьбу-судьбинушку и про матерей, которые ждут своих сыновей:

Здравствуй, мать, прими привет от сына.

Пишет он тебе издалека.

Я живу, но жизнь моя разбита,

Одинока, нищенски горька...

Поёт, а сам посматривает по сторонам, прохожих взглядом провожает. Взгляд тяжёлый. Зыркнет исподлобья — словно ножом полоснёт. Редкий человек выдерживал его взгляд. В основном отводили глаза, землю сверлили, пока с ним разговаривали. И торопливо уходили, облегчённо вздыхая и радуясь, что Витька Орлёнок не записывал, как частенько бывало, не стал свои блатные штучки-дрючки показывать, не стал кулаки в ход пускать или за ножик хвататься — кровь-то горячая, и характер шальной, а всего лишь отмастерил — коротко, но со смаком. Непредсказуемый был. Не знаешь, чего от него ожидать...

Некоторые побаивались Витьку. А как тут не бояться, если он с малых лет по лагерям мотался?

А возвращаясь в деревню, праздник для души устраивал. Неделю не просыхал. Спиртное рекой текло. С коньяка начинал и шоколадом объедался, а потом на водку и самогонку переходил, а когда пропивал последние деньги, ломился к соседям, а они носа не высовывали, чтобы не попасть под горячую руку. А немного оклемается после беспробудной пьянки — надвинет кепку на глаза, руки в карманы, и начинает вихляться по деревне, по сторонам глазеть, а другим показалось, что высматривает, что можно украсть. И если обворовали кого-нибудь, сразу слушок разлетался по всей деревне, что это Витька сработал, а больше некому. В деревне один бандит — это Витька Орлёнок. Значит, что ни случись, он виноват. А однажды Витька всего два-три дня на воле погулял и в пьяном угаре какому-то собутыльнику рожу набил, что за языком не следил; тот сразу в милицию побежал, и Витьку, вусмерть пьяного, опять забрали. Накрутили, что положено по закону, и отправили свежим воздухом дышать — кедры окучивать. Благо страна огромная, дорожка в лагерь проторена, а тайге конца и края не видно...

Раньше Витька не был таким. Правда, с малых лет горячим был, чуть что — сразу в драку кидался. Особенно если называли байстрюком. И тогда никого не жалел. Ему попадало, до крови били, но и он спуска не давал. Хватался за всё, что под руку попадало, и тогда — спасайся кто может. Мало ли что у него на уме — этого байстрюка? Шандарахнет камнем и отправит на тот свет. Боялись его, и поэтому друзей не было. Так и пошёл по жизни один...

А ещё Витьке нравилось сидеть на холмах, что были за деревней. Поднимется на холм, оставится куда-то вдаль и поёт. Наверное, в отца пошёл. Отец приезжим был. Бригада шабашников неподалёку работала. И один из них, чернобровый такой, смуглолицый и статный, нос с горбинкой, как у орла, да и характер орлиный, он повадился в магазин приезжать, где Шурочка работала, в те времена ещё девчонкой была несмышлёной. Вот этот орёл стал захаживать к ней. Зайдёт и начинает рассказывать про горы, что в небо упираются, про луга, на которых отары овец пасутся, про реки чистые, на дне которых каждую песчинку было видно, и про людей гордых и смелых, что

жили в том краю... О многом говорил, но чаще пел. Привалится к прилавку или усядется на подоконник и начинает тихонечко петь, и слова какие-то чудные, и мелодии непривычные, и поэтому завораживали песни, вводили за собой в дали дальние. Шурочка нарочито хмурилась, а сама слушала его, стараясь душой понять, о чём поёт, а потом не удержалась, к себе подпустила. Хотели свадьбу сыграть, но счастье недолгим оказалось. По осени, когда уж зимой потянуло, первыми морозами землю и речку сковало, беда приключилась. Машина, груженная лесом, перевернулась, а в ней орёл был. Придавило его. Не спасли. И похоронили тут же, на деревенском погосте. Сиротой был. Даже фотокарточки не осталось. Почернела Шурочка. Думали, умом тронется. Дни и ночи возле могилки проводила. А потом почувяла, что под сердцем ребёнок зашевелился. Родила мальчишку, когда время подошло. Чернявый малец, в отца пошёл. Горластый. Криком исходил, титьку требуя, а у Шурочки и молока-то не было. Видать, с горя перегорело. И она недолго протянула. Ну как недолго... Сынок уж в школу пошёл, а она, как выпадала свободная минутка, всё продолжала бегать на кладбище. Видать, сильно любила своего орла. Оставит Витьку у старой бабки Матрёны и на мазарки подаётся. Многие видели, как она сидела и разговаривала с ним, как с живым, про Витьку говорила и новости рассказывала, а потом плакать начинала. Сильно убивалась по нему. Обнимет могилку и плачет. И, наверное, простыла, когда начались осенние обложные дожди. В горячке заметалась, своего орла звала и всё жалела, что не удалось побывать на его родине, не увидела горы высокие и реки чистые, а потом замолчала. Сгорела. Так и похоронили рядышком с её орлом. Подошло время, и они встретились...

Бабка Матрёна забрала Витьку к себе. А куда же ещё — не в детдом же мальчика сдавать? Забрала, а вскоре схватилась за голову. Ладно, когда несмышлёншем был, вроде и забот таких не было, а стал подрастать — взыграла горячая кровь. Видать, выход искала, чтобы дурнину скинуть. А бабке Матрёне не удалось направить горячую кровь в нужное русло. И Витька с малых лет стал от рук отбиваться. Все в школу, а он мимо неё и на речку бежит, или по холмам лазил, а то в лес подавался. Бабка Матрёна за ремень хваталась, когда он домой возвращался. Хлестала, до крови полосовала, а он лишь губы до крови кусал, ни словечка, ни стопа в ответ. Видать, уроки воспитания не впрок пошли. Соседи стали жаловаться, Витьку обвиняли, что сметану и молоко ворует, картоху подкапывает, а потом и куры с гусями стали исчезать. Долго терпели, а потом мужики выследили его, когда Витька с очередной добычей в землянку возвращался. И землянку-то сделал,

что мимо пройдёшь и не заметишь. Под корнями поваленного дерева углубил яму, забросал сверху ветвями да всяким мусором и сделал лаз со стороны реки. Нырнёт под дерево, раздвинешь ветки — и ты в землянке. А там... Чего только не было там, когда мужики сунулись. И чайник стоял, пара чугунков, лампа керосиновая, пара сапог, две-три поношенных фуфайки, а на топчане одеяло лоскутное, а напротив небольшой портрет Сталина, который был похож на его отца и на него — тоже, как говорили в деревне. Добротная землянка — зимовать можно, на долгое время рассчитанная. На берегу кострище, а рядом перья — это Витька ворованных кур и гусей оципывал. Тут же по шеем надавали и бока намаяли, а он ни разу не вскрикнул, до крови губы закусил и зыркал своими чернущими глазищами. Потом в деревню приволокли. Всем миром решали, что с ним делать. Хотели уж было в район отвезти, да бабы заступились, и участковый сказал, что нечего мальцу с малых лет по тюрьмам и лагерям жизнь портить. Сердобольные они. Простили... Но ещё раз накостыляли и предупредили: если поймают — спуска не дадут. Или на месте порешат, или отправят кедры окучивать, как говорили. Витька зыркнул на них чернущими глазами, буркнул под нос, небрежно повёл плечом, освобождаясь от рук, сплюнул под ноги, надвинул кепку на глаза и вихлястой походкой направился к дому. Вот и поговорили, называется...

С неделю Витька отлёживался и отсыпался. Школу-то давно забросил. Зачем школа нужна, если голова и руки работают, как он рассуждал. Читать и писать научился — этого хватит. И перестал ходить. А может, и к лучшему, что перестал. Ученики радовались, что Витька не появляется в школе, без него спокойнее живётся: морды целы, и зубы на месте, и одежда не рваная, — так они говорили, а для учителей — это головная боль, когда Витька Орлёнок показывался в школе. Дня не проходило без драк и хулиганства. А кого в школу вызывать и жаловаться на плохое поведение — бабку Матрёну? У них в доме хоть шаром покати, а кто убытки станет возмещать, ежели Витька чего-либо натворит? И учителя махнули рукой. А самому Витьке тем более школа не нужна. Жизнь всему научит, так он думал...

Научила жизнь... Первый раз, когда поймали, он отлежался дома. Отгестыся не получилось на бабкиных харчах. С хлеба на воду перебивалась. Стал воровать, потому что жрать хотелось, даже ночью еда снилась. А когда поймали и отлупили, пришлось терпеть. За неделю все бока отлежал, потом не выдержал. Бабка Матрёна отправилась в магазин, а Витька с крыльца заметил, что сосед, дядька Иван, забыл закрыть погребку и куда-то помчался. Зажиточный сосед. Зимой снега не выпросишь. Всё в дом тащил, что под руки

попадало. Всё в хозяйстве пригодится. Открыто тащил, а соседи делали вид, что не замечают, а может, не хотели с ним связываться — горластый был и драчливый. А Витьку поймали — так накостылялись, что неделю отлёживался. До сих пор синяки не сошли. Витьке стало обидно. Почему одни воруют и живут припеваючи, а другие утащат на копейку — и за это наказывают? Он вышел во двор. Потоптался, осматриваясь по сторонам. На улицу выглянул. Сосед мелькнул вдалеке и исчез в проулке. И бабки Матрёны не видно. Видать, со старухами заболталась возле магазина. Витька постоял, озираясь и прислушиваясь, — наверное, рещался, а потом скользнул через забор, прополз по траве и прошмыгнул на погребку. А там... Он зажмурился. Там солений-варений полон погреб, солонина в банках, мёд углядел, да в самой погребке ящик с салом стоял, и ещё всякой снеди было разложено по банкам да ящикам столько — аж глаза разбегались. У Витьки голова закружилась от голода и в животе заурчало. Прислонился к стенке, чтобы не упасть. Что-то звякнуло. Руку сунул в карман пиджачка — там бутылка спрятана. Видать, дядька Иван засунул. Витьке доводилось пробовать самогонку. Не понравилась. Горькая она и вонючая. А тут словно чёрт под руку толкнул. Приложился к бутылке. А много ль нужно голодному пареньку? Вполне хватило бы на пробку наступить. Окосел Витька. Всё же у бабки Матрёны жратва такая, что с голоду не помрёшь, но и сыт не будешь. Осмотрелся по сторонам и принялся хватать обеими руками всяко-разную еду и жрать. Да, жрать, по-другому не назовёшь. В обеих руках держал. Откусывал и отбрасывал в сторону — и снова тянулся к какой-нибудь другой еде. Всё хотелось попробовать. Всё, что в погребке нашлось. Он ни разу за свою короткую жизнь не видел столько припасов. Опять выпил и снова схватил кусок. Больше разбросал, чем съел. И осоловел с непривычки. Хотел было подняться, а ноги не удержали. Сунулся вперёд головой, уткнулся в какое-то тряпье и уснул тут же, в погребке.

А вскоре дядька Иван вернулся. Наткнулся на Витьку, когда внутрь погребки заглянул. Обозлился. Столько продуктов извёл байстрюк, что можно было целый месяц от пуза жрать. За ногу выволок Витьку. Кнутом бил. Сильно. До крови, до костей рассекал кожу. А потом в раж вошёл, когда кровь увидел. И не посмотрел, что паренёк перед ним. За полено схватился. Пришибить хотел гадёныша. И убил бы, если бы старый Ерофей не заметил, когда мимо двора проходил. Вцепился в мальчика. Собой прикрыл. Дядька Иван всё же успел несколько раз поленом вдарить, но досталось не Витьке Орлёнку, а стариковская спина приняла удары. Охнул старый Ерофей, захрипел и в беспамятстве повалился на землю. Дядька

Иван перепугался, когда увидел старика немощно-го и рядом окровавленного, недвижимого Витьку. Думал, обоих порешил. Знал, что за такие дела сразу лоб зелёной смажут или свои же, деревенские, самосуд устроят — это ещё хуже. За верёвку схватился. Но повезло ему. Сунул голову в петлю, толкнул ящик и задёргался, засучил ногами, но тут соседи понабежали. Они услышали, как Витька Орлёнок вскрикнул, когда сосед Иван спину кнутом располосовал, потом старый Ерофей матогался, но значения не придали, а кто-то увидел, что посреди двора стар да мал в крови валяются и хозяин с верёвкой носится. Смекнули, что беда пришла. Помчались. И вовремя. Ивана из петли вытащили. Самогонкой отпайвали. А старика и Витьку быстренько со двора уволокли. Лишь бы Богу душу не отдали...

И снова Витьке повезло. Дядька Иван не стал жаловаться. Испугался. Старый Ерофей пригрозил: если Витьку посадит, значит, он следом за ним отправится за сломанные рёбра. И тогда дядьке Ивану лежит прямая дорога лес валить. Никому не хочется попадать на казённые харчи. В общем, всё обошлось малой кровью...

Ну, малой кровью — это как сказать... Вскоре дядька Иван запил. Сильно и надолго. Может, испугался, что рано или поздно придётся отвечать по закону за старого Ерофея да этого байстрюка, которого за человека не считал, а может, что-то в башке помутилось, когда в петле закачался. Но с той поры, не просыхая, стал глушить самогонку. Жену выгнал из дому. И на хозяйство махнул рукой. Всё чаще и чаще стал в рюмку заглядывать. Старого Ерофея после переломов так скрючило, что взглядом в землю упёрся. Выйдет на улицу, усядется на скамеечку, чтобы на солнышке погреться, и зыркает по сторонам, а спина-то не разгибается. С кем начинает говорить, головёнку клонит на плечо, как птичка, словно пытается под крыло засунуть. Про себя молчал, а про Витьку при каждом удобном случае рассказывал, как спас его от неминуемой смерти. Наверное, так и было, что спас. Витька Орлёнок всю зиму провалялся. Спина не заживала. До костей рассёк. Бабка Матрёна мазями мазала да примочки делала, лишь бы раны зажили. Осунулся Витька, исхудал. Кожа да кости остались. Больше лежал, чем на ногах был. Выйдет из дома, стоит на крыльце — и снова на старый диван. Ветром качало. Одни глазщицы остались на лице. Как зыркнет — аж на душе нехорошо становилось. Соседи зайдут в гости, о чём-нибудь спросят, а Витька взглянет на них, да ещё с прищуром так, словно рентгеном просвечивал, усмехнётся, отвернётся к стенке и молчит. Опять посмотрит — и снова молчок. А если скажет, так это слово, как камень тяжёлый, на душу давил. И соседи стали обходить его: кто знает, что у него на уме?..

Наступила весна, и кровь заиграла. Витька Орлёнок стал потихонечку в клуб ходить, когда оклемался. Придётся туда, отдельно от всех съездит и посмотрит на девчонок, а у самого сердце начинало колотиться. Бухало — аж в груди больно, когда перехватывал девчоночий любопытный взгляд. А как же не любопытничать? Паренёк не по годам повзрослел, если сравнить со сверстниками: сам высокий, лицо светлое, а брови густые и чернушние срослись на переносице, и глазищи чернушние, нос с горбинкой, как у орла, как у его отца был, и чёрный пушок появился на верхней губе. Витька взглянет на девчонок, а тех в жар бросало. Сами боялись его, слухи-то разные ходили, но в то же время тянулись к нему. Видать, всё хотели узнать, что в нём такого, отчего дух захватывало и ноги ватными становились, когда смотрел на них. Витька подмигивал девчонкам, намекая прогуляться вечером, и они ждали его, но Витьку почему-то тянуло к Таньке Рощиной, что жила неподалёку. Правда, Танька фыркала, когда он звал прогуляться вдоль речки, где взрослые парни гуляли. Танька взглянет на него, подастся навстречу, словно прижаться хочет, а потом тряхнёт головой, засмеётся и бежит к дому. Дразнила его, зараза! Витька Орлёнок весь извёлся, всё думал, чем бы привлечь её внимание, слишком уж девка нравилась. Даже назло принимался с некоторыми девками любовь крутить. Прогуливался с ними вдоль речки, тискал в сумерках, когда никто не видит, а они отталкивали его, но в то же время сами прижимались. А Танька Рощина ни в какую не хотела гулять. И Витька разозлился. Решил удивить. И удивил на свою дурную голову... От правления угнал грузовик с пустыми флягами. Вовсю разогнавшись, пролетел мимо Танькиного дома, в окно высунулся, рукой размахивал и не усмотрел поворот. Как гнал на всей скорости, так и нырнул с обрыва в речку. Ладно, сам выкарабкался. Машина вдребезги, а пустые фляги долго по реке вылавливали. И здесь-то терпение у всех лопнуло. Окончательно и бесповоротно. Посадили Орлёнка...

И покати́лась Витькина жизнь по колдобинам да под откос. А может, сам на себя махнул рукой, потому что хорошего не было в его жизни, если оглянуться назад, а посмотреть вперёд — там всё в тумане: густом, вязком и беспросветном. Получается, что и будущего не будет. После первой ходки последовала вторая, третья, а там и...

Освободившись в очередной раз, Витька Орлёнок ввалился в избу. Бабка Матрёна охнула, его увидев. Запричитала, обниматься кинулась. А потом принялась на стол накрывать, а Витька достал бутылку, чтобы возвращение отметить. И запил, как всегда. Несколько дней не просыхал. Усоседки через забор брал самогонку и пил, словно последний день жил. А напивался — начинал песни петь:

Здравствуй, мама дорогая! Неужели
Не узнала ты родимого сынка?
В юности меня ты провожала, дорогая мама,
А теперь встречаешь старика.

Витька Орлёнок сидел и пел до тех пор, пока тут же, за столом, не засыпал. Проснётся и снова к бутылке тянется. Бабка Матрёна ругала его и соседке грозилась, что пожалуется участковому, что самогонкой торгует, а та лишь посмеивалась. А вскоре соседка закрыла свою лавочку. От ворот поворот дала, когда Витька сунулся за бутылкой. Он пригрозил, что подожжёт дом вместе с ней и самогонным аппаратом, а она отмахнулась. Не такое слышала от деревенских забулдыг. Привыкла... И пришлось Витьке тащиться в магазин. Думал, там похмелится, а продавщица выставила его. Матюгнувшись, Витька добрался до речки. Поплескался возле берега в холодной воде. Немного протрезвев, отправился в клуб. Всё времени не было, чтобы дойти: то сидел, то пил, то похмелялся, а очнётся, глядь — снова на нары угодил. Сунулся в клуб, думал, старых дружков повстречает, если можно так сказать, и с ними похмелится, а там уже другие сидят, время проводят, а его знакомцы давно уж переженились, семьи создали, некоторые отправились по белу свету счастье искать, а другие на мазарках лежат. У каждого свои пороги в жизни...

— Эй, что вынюхиваешь? — донёсся голос, и Витька Орлёнок увидел, как к нему направилась группа подростков. — Слышь, дядька, что надо?

— Да ему в глаз надо дать, — нетрезво хохотнул щупленький паренёк. — Видать, командировочного занесло. Гляньте, пацаны, как на наших девок зырит. Наверное, какую-нибудь снять хочет. Сейчас навешаем кренделей, сразу забудет сюда дорогу.

— Ты кто? — к Витьке подошёл крепыш и ткнул пальцем в грудь. — Что надо? Пошёл отсюда, пока рёбра не пересчитали!

И толкнул в плечо.

— Эй, малолетки, — не ожидая такого приёма, отшатнулся Витька Орлёнок. — На кого голос повысили, а? Падлы, распишу, как Бог черепаху!

И запсиховал. Выдернул из кармана выкидушку, щёлкнул лезвием и взмахнул перед лицами пацанов.

— Порешу, суки! — визгливо, с надрывом, закричал он и рванул рубаху на груди, только пуговицы разлетелись, и перед ребятами появилась худая грудь в многочисленных татуировках, и среди них два портрета — Ленин и Сталин. — Подходи...

И вжикнул ножом в воздухе.

— Пацаны, это же Орлёнок откинулся с зоны, — кто-то крикнул в клубе. — Мамка про него рассказывала. Сейчас всех поубивает. Это ж бандюга. Для него тюрьма как дом родной. Всю

жизнь по ним мотается. Сматываемся от греха подальше, пока на ремни не порезал!

В клубе раздали крики. В основном завизжали девочки, когда увидели в руках нож, и толпа подалась в сторону выхода. Некоторые ребята, оглядываясь на Орлёнка, тоже поспешили выбраться из клуба. Ну его, правда, от греха подальше. Остались пьяные, которые даже не заметили, что происходит, и группа ребят, которые подошли к Витьке.

— Слышь, — не обращая внимания на нож, крикнул один из них. — Убери ножичек, пока руки-ноги не обломали. Не гони жути. Видали мы таких...

— Жути гонят только черти, а ты попробуй забери, — опять запиховал Витька Орлёнок. — Первым будешь, кого на тот свет отправлю. Ишь вы, кони бздиловатые!

Рявкнул — и опять взмахнул рукой, целясь по лицам. Знал, что дурак не полезет, а умный начнёт вести переговоры.

Толпа отшатнулась. Никто не хотел попадать первым на тот свет.

Витька опять вжикнул ножом. Ребята отступили и потихоньку стали пятиться к выходу. Испугались. Отходили и матерились. Сильно, всяко — неумело. Витька Орлёнок — следом за ними. Пацаны отбежали и долго грозили, что подкараулят и все кости переломают, потом развернулись и куда-то направились. Видать, не успокоились. Наверное, искали приключений на дурные головы. Ну, у них всё впереди. Жизнь расставит по своим местам, и тюрем на всех хватит, если с головой не в ладах живёшь. Витька потоптался, оглядываясь по сторонам, рявкнул напоследок, что всех перережет, как кур, и неторопливо завихлял в сторону речки, привычно озираясь по сторонам. Долго сидел на берегу, курил и о чём-то думал. Наверное, пацанов вспоминал или себя в этом возрасте. Правда, он никогда не отступал первым... Потом выгасил полупустую сигаретную пачку и, вздохнув, поднялся. Пора возвращаться. Уже вечерело, когда он появился в деревне.

— Витенька, неужто приехал? — из-за забора донёсся женский голос, распахнулась калитка, и перед ним появилась молодуха в цветастом платье и платке, наброшенном на плечи. — А мне говорят, Орлёнок вернулся, гляжу-гляжу — не видно и не слышно. Думала, врут соседки, а оказывается, и правда появился. Никуда не выходишь. Сидишь один, как медведь в берлоге. Исхудал, Витенька, как посмотрю. Кожа да кости остались. Понимаю, не с курорта вернулся, а на бабкиных харчах не разжиреешь.

И она сочувствующе посмотрела на него.

Витька Орлёнок остановился. Нахмурившись, долго всматривался в знакомо-незнакомое лицо, закурил и пыхнул вонючим дымом.

— Исхудал, говоришь?.. Пайка такая, что гуляш по коридору, а отбивные по рёбрам, — прищурился, брови сошлись в одну черную линию, сказал он, потом оглянулся и кивнул на пустынную улицу. — Слышь, где Танька Рошина? Что-то её не видно... — и тут же: — Зачем меня высматриваешь, а?

И взглянул подозрительно. Привык. Жизнь такая, что нужно всё и всех подозревать, если жить хочешь.

— Ну вот, стоишь с одной красавицей, а спрашиваешь про другую. Так не делается, Витенька. Я к нему со всей душой, а он... Никуда твоя Танька не делась. Замуж выскочила, пока ты сидел. Чутко пожили и разбегались. Она же гордая, сама не знает, что хочет, а принцы только в сказках бывают, — недовольно протянула молодуха, кокетливо повела плечиком, и словно ненароком платок съехал с плеча, обнажая гладкую кожу. — Я соскучилась, Витенька, поэтому и высматривала. Перевелись настоящие мужики в деревне, а орлы — тем более. Не знаю, чем себя занять долгими ночами — молодую, одинокую, да ещё в пустой избе...

И замолчала, вздёрнув подмалёванные бровки.

Витька Орлёнок невольно оглянулся — никто не видит, как они разговаривают. На улице никого не было. Лишь собаки, гавкая во весь голос, куда-то промчались, да одиноко пропел петух и замолчал.

— Эх, тяжёлый крест мне пал на долю, тюрьма всё счастье отняла. Поджениться бы на тебе, да жизнь моя — тюрьма, — и тут же спросил: — Танька в деревне или уехала? — Витька взглянул на обнажённое плечо молодухи, аж жаром обдало, и запнулся. — Так это... — он гулко сглотнул — какды ходуном заходил — и не удержался. — Так это... А выпить есть? Голова трещит. Это хорошо! В дом бы пригласила... Глядишь, нашли бы чем заняться. Ночь долга, а силы много...

И замолчал, взглянув на неё.

— На что намекаешь, а? — поджав чуть подкрашенные губы, сказала молодуха и потрепала его по коротким волосам. — Не успел появиться, а уже в гости набивается. Лишь бы соседи не увидели, а то быстро разнесут по всей деревне, а я девушка скромная, почти нецелованная...

Сказала, потупила глазки и чуточку отступила, освобождая проход.

Витька снова сглотнул. Сердце забухало. Опять оглянулся. Никого. Бросил окурочек под ноги и прошмыгнул во двор. Калитка захлопнулась...

А утром, едва вернулся домой, нагрянула милиция. Обыск сделали. Потом его скрутили, в машину затолкали и умчались. А следом по деревне слух разлетелся, будто Витька Орлёнок командировочного зарезал. Сначала в клубе разодрался и за нож схватился, всех разогнал, потом пристал

к командировочному. С ним сцепился. Всего измутил, живого места на человеке не осталось, но Орлёнку мало показалось, и он схватился за нож, сунул командировочному под рёбра и в кусты толкнул. Там и нашли его, бедняжку. Выездной суд был. Даже на нём Витька говорил, что никого не убивал. И рядом не был, потому что весь вечер возле речки просидел. Но решили по-другому: а кто же, как не он? У Витьки статей — как блох у собаки. Тем более документы и пустой кошелек во дворе нашли. Наверное, не успел избавиться от улик. Получается, его работа. Витьке Орлёнку что курица, что человек — всё едино. Зарежет и глазом не моргнёт. Посадили. Отправили кедры окучивать, как говорили в деревне...

Бабка Матрёна не дождалась внука. Да и какой внук, если почти сыном стал на старости лет? Единственная дочка умерла, оставив Витьку, и больше никого из родни не осталось. Взяла мальчонку, лишь бы в детдом не попал, а потом привязалась к нему. Пусть шептунной и неугомонной, пусть по лагерям мотается, но это же родная кровинка. Нельзя от родного человека отказываться, нельзя! Бабка Матрёна в одночасье померла. Вечером, как обычно, вышла ко двору. Всё сидела, Витьку вспоминала. Всё о маленьких радостях рассказывала. Вроде бы пустяки, а душа радуется. Говорит, а сама смеётся, и лицо светлое становится и доброе, а сама исподтишка слезу вытирает. Соскучилась по нему. Не верила, что он жизни лишил человека. Украсть — да, подраться — да, а вот зарезать — этого не сделает. Душой чувала: не его работа. До последней минутки не верила. И соседи шептались, что это не Витька пырнул командировочного, а местная шантрапа подкараулила, но попробуй докажи. Не пойман — не вор, как говорят. И бабка Матрёна себя извела. И в тот вечер сидела, разговаривала с соседками, всё Витьку жалела, как один станет жить, когда она преставится. Он же неприспособлен к этой жизни, шагу со двора не делает, когда возвращается, потому что не знает её — жизнь-то, а до последнего своего часа мотаться по тюрьмам — это не дело. Нужно прибиваться к нормальной жизни. Всё плакала, а потом охнула, побледнела и ткнулась в забор. Замолчала. Соседки бросились к ней, затормошили, а она не дышит. Померла. Так и схоронили возле Витькиной матери да её орла. Так и лежат они рядышком...

— Бабоньки, что скажу... — в магазин заглянула Шурка Апраксина, первая сплетница на деревне. — Поднялась, чтобы выгнать свою Зорьку в стадо. Мимо Матрёниной избы иду, глядь, кто-то в окне мелькнул. Я подкралась, в щёлку заглянула, а там... — она замолчала, сделав большую паузу, и, округлив глаза, зашептала, оглядываясь на дверь: — А там чернявый мужик стоит посреди горницы, сам почти что голышом, только трусы

на нём и ничего более, и весь синий-пресиний. Пряма картинная галерея, как в городе. Не иначе, какой-нибудь заключённый сбежал и здесь спрятался. Увидел, что изба пустая, вот и пришипились, чтобы его никто не приметил. Отлежится, в другую одежду переоденется и снова в бега подается. Я нутром чувю! — она гордо осмотрела покупательниц в магазине. — Вот думаю, нужно к участковому сбежать. Ему рассказать про беглеца. Глядишь, какую-никакую премию выпишут. А может, и медалью наградят. Ну, за поимку убийца...

И замолчала, поджав тонкие бескровные губы.

— Бабоньки, правда, а кто там может быть? — кивнув головой, сказала молодуха. — Изба давно пустует. Может, покупатель на неё объявился? Если так, лучше бы нашу избу взял, чем эту развалюху. У неё крыльцо провалилось и крыша протекает, а уж про забор и говорить нечего. А в нашей проживи ещё сто лет — и не рассыплется. И недорого бы запросили. Сбежать, что ли, свою предложить, авось и сторгуемся...

— Какой убивец, Шурка? — хохотнула разбитная бабёнка, и в сумке звякнула бутылка. — Рисунки углядела на нём, да? Так сейчас модно это. Ты б посмотрела на моего племяша, что в городе живёт. Ну, Флор... Фрол... Тьфу ты, не выговоришь без бутылки — Флоринан, мать вашу раззтак! Вот уж имечко придумали, язык поломаются, зато говорят, что красиво. Я что говорю-то... А, да... Так наш Флорка — это страсть Господня! Весь синий! У него даже на глазах наколки — и до самых пяток, а он, зараза такая, смеётся, говорит, что на причинном месте ромашку наколол, прям как живая, а теперь, мол, ждёт, когда пчёлки займутся опылением. Ишь, пасечник нашёлся! Видите, какая зараза уродилась! Я б глянула на его ромашку, да неудобно как-то. Всё же не молодуха...

И опять хохотнула.

Долго бабы обсуждали эту новость, гадая, кто же поселился в Матрёниной избе. Так бы до вечера простояли возле магазина, куда их выперла продавщица, чтобы не мешали торговать. Долго судили-рядили, если бы не тётка Зоя, которая пришла, чтобы соль купить. Вышла из магазина и нахмурилась, прислушиваясь к разговорам, где этого незнакомца уже обвинили во всех грехах, которые произошли задолго до его рождения, и успели будущие грехи на него записать.

— Вы, бабы, бестолковый народ, — сказала она, подвывая косынку. — Я своими глазами видела, что в деревню вернулся Витька Орлёнок. Помните такого? Ну, Матрёнин внук, который от заезжего родился... Вот ты, Надька, должна знать. Ты же с ним любовь крутила, а тебя батя крапивою отхлестал, когда увидел, что Орлёнок твои титьки мял...

— Дура, что говоришь? — всплеснула руками дородная высокая Надька. — Что болтаешь-то?

Титьки мял... Ты бы за собой смотрела. Я помню, как все девки глазки строили Витьке. Он взглянет — аж в груди томление. Любая готова была под Орлёнка улечься. А сейчас корчат из себя незнамо кого...

И она неопределённо помахала в воздухе рукой. Наверное, это обозначало — незнамо кого.

— Да что уж скрывать-то? — пожалала плечами тётка Зоя. — Ну, многих тискал — и что? Что было, то быльём поросло. Сколько лет прошло, как его посадили. А сейчас вернулся. Видать, выпустили...

— Да ты что! — перебивая её, воскликнула молодуха. — Мне мамка про него рассказывала. Тот ещё бандюга, оказывается! Бабоньки, как жить-то будем, а? Надо участковому сказать, чтобы выселили его или снова посадили. Там его место, на нарах, а не в деревне. Ох, бабоньки, бандит объявился! Теперь ни днём, ни ночью покоя не будет. Начнёт вихлять по деревне, всё высматривать да вынюхивать, а за пазухой ножик спрятан. Придётся все двери на запоры закрывать. Детей на улицу не выпустишь, да и сами без нужды со двора не выйдем. А ежели Витьку Орлёнка не прогнать, получается, он начнёт свои законы устанавливать в деревне. Превратит всех в кур-несушек. И будем ему золотые яйца нести, а слово против скажешь — сразу голову с плеч снимет. Ой, мамочка моя! Погибель пришла...

И она прикрыла рот ладонями.

— Дура, как есть — дура! — махнула рукой тётка Зоя, подхватила хозяйственную сумку и стала спускаться по выщербленным ступенькам. — Записали в убивцы... Не разобрались — уже гоните из деревни. Совесть поимейте! Вы своими дурными бошками подумайте: куда Витьке Орлёнку податься, как не в деревню? Это ж его родина. Здесь он родился. На мазарках его мамка с отцом лежат и бабка Матрёна с дедом Назаром. Он же человек, а не собака бродячая. Один на белом свете остался. Дай Бог, чтобы наконец-то зажил по-человечески, а не так, как судьба распорядилась — по тюрьмам да лагерям мотался. Не трогайте его, не лезьте к нему в душу. И так она заплёвана дальше некуда...

И направилась по улице, всё ещё бормоча что-то под нос...

Витька Орлёнок добрался до деревни поздним вечером. Присел на вершине холма. Сидел и курил, поглядывая на деревню. Давно не был. Кое-где зажглись огни. Пятнышками света освещены окна. Улица в вечерних сумерках. Лишь возле правления и клуба горят фонари. Изредка доносился лай собак. Там мукнула корова, а в той стороне овечки проблеяли. Видать, потерялись. Витька сидел на холме и не знал, для чего он приехал. Казалось, ничего не связывает его с деревней. Ему сообщили, что бабка Матрёна давно уж померла, а кроме неё, больше никаких родственников

не осталось. Один как перст, один в жизни, так и по жизни. Для чего приехал, что оставил здесь, где ему не рады, — он не знал...

Витька тенью промелькнул по проулкам, добываясь до дома бабки Матрёны. Изредка останавливался, когда слышал чьи-нибудь голоса. Пережидал, а потом снова пускался в путь. И тут же себя ругал, что прячется от людей. Он же домой вернулся. Он же ничего не своровал, никого не ограбил, а вернулся — и нечего скрываться, от всех прятаться. Да, правда, нечего... А пересилить себя не мог. Жизнь сделала таким. Чем меньше доверяешь, тем дольше проживёшь, как говорится. Наверное, так оно и есть... Годы по тюрьмам и зонам многому научили. И учителя хорошие попадались. Там ему было легче, а на воле он растерялся. Там всё и все были знакомы, там за каждым словом следишь, за каждым взглядом, и у каждого было своё определённое место, свой уровень жизни. В тех местах был порядок, а здесь... Он вздохнул. А здесь другая жизнь, более жестокая, как ему казалось, потому что законами крутят, как хотят, прав тот, у кого больше прав, и поэтому свобода была непонятной для него...

Витька Орлёнок подошёл к дому. Распахнул калитку — казалось, скрип услышала вся деревня. Поднялся на крыльцо, потоптался возле закрытой двери, сунул руку в щель над дверью, там обычно лежал ключ. Гляди ж ты, и сейчас на месте, словно бабка Матрёна до сих пор ждала его. Вытащил ключ. Покрутил в руках, а войти в пустой дом не решился, где его никто не ждёт. Закурил, прислушиваясь к вечерним звукам. У соседней зажелтело окно. Видать, кто-то зашёл в горницу. Потом вспыхнула лампа над входом, тускло освещая двор, и на крыльце появился тёмный силуэт. Наверное, в сарай или в баню пошли. Орлёнок пригнулся, чтобы его не заметили. И тут же чертыхнулся. Домой вернулся, а сам не хочет, чтобы его видели. Дождался, когда затихли шаги, и уселся на скрипучее крыльцо. Уселся, и закрутились бесконечные мысли в голове...

Как-то раньше не задумывался про эту жизнь. Делал что хотел. Брал что хотел. А сажали, так не расстраивался. Везде люди, и в тюрьме — тоже. Многого повидал, пока был за решёткой. И всегда оставался человеком. Так научили ещё с малолетки, когда он первый раз загрел за колючую проволоку. Жестокая школа — эта малолетка, но учителя хорошие попались. Научили, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком. И он, что бы ни случилось, оставался. Потому что знал: если сорвётся, если не удержит себя в руках, значит, будет плохо всем, а в первую очередь — ему. Ну а то, что, вернувшись, он начинал отмечать освобождение, так каждый через это проходил. Свобода... К ней стремишься, будучи за колючей проволокой, а выйдешь

на волю — и теряешься, потому что перед тобой другая жизнь идёт, и люди не такие, какие раньше были. И поэтому не знаешь, что делать, чем заняться. Не знаешь, кому нужен, да и нужен ли вообще... И здесь-то начинаешь пить. От растерянности, что попадаешь в знакомо-незнакомый мир, о котором мечтал, но в то же время от которого отвыкаешь за долгие годы отсидки. И теряешься. И поэтому недалеко тот порог, через который переступить легче лёгкого — и снова для тебя весь мир сузится до размеров камеры или зоны, куда попадёшь, если переступишь порог, а вот вернуться, оставшись человеком, — это не каждому дано. И не каждый сможет выжить в этом свободном мире, где потерять проще простого, да и сгинуть легче лёгкого. И Витька Орлёнок вернулся и не знал, что его ждёт на свободе...

Светало, когда он поднялся. Подхватил сумку и, потоптавшись, всё же открыл дверь и шагнул во тьму. У родины много запахов, но самые лучшие — в доме. И сразу потянуло сыростью, но в то же время сквозь неё пробилась запахи чеснока и лука, едва уловимые запахи разноцветья: душица и смородина, иван-чай и берёзовый лист, — и ещё чем-то пахнуло, вроде знакомым, но в то же время уже подзабытым. Витька Орлёнок стоял в темноте и вдыхал. И, казалось, надыхаться не мог, а потом шагнул и уткнулся лицом в фуфайку — её, многострадальную, ни с чем не спутаешь, а рядом жестяно громыхнул брезентовый плащ и ещё какая-то раздергайка. И под ногами ворох всякой обуви: стоптанные сапоги и ботинки, а вот обрезанные валенки — топтыши — это от бабы Матрёны остались, мягко шлёпнули галоши и ещё что-то... Да разве всё упомнишь, что было в прошлом и чего так не хватало в настоящем, а что его ждёт в будущем — он не знал...

Он сидел в горнице. Поставил на стол бутылку, рядом стакан с водкой, к которому не притронулся. Сидел, поглядывая по сторонам, а сам думал. Вспоминал прошлую жизнь. Да и какую жизнь, если её, можно сказать, и не было вовсе? Не увидел её — эту свободную жизнь, мотаясь по тюрьмам и лагерям. Как-то мимо прошла, промелькнула, а оглянулся — и вспомнить нечего. Хотя... Хотя он вспоминал Таньку Рошину. Никому про неё не рассказывал и себе не хотел признаться, а вот что-то в ней было такое, отчего сердце начинало бухать в груди, того и гляди выскочит. Витька поморщился и растёр грудь. Танька гордая и неприступная, а поэтому такая желанная. Конечно, были у него другие девки и бабы, и с заочницами переписывался. Правда, все они одноночки — и не более того. Некоторые бабы хотели, чтобы с ними остался, а он не мог себя пересилить. А может, и в мыслях не было, чтобы связать себя по рукам и ногам. Знал, что в этой свободной жизни он всего лишь случайный попутчик — это

более правильно будет. Не успевал рассмотреть свободную жизнь, не успевал к ней привыкнуть, а уже опять возвращался в более привычные для него места, где он знал многих и его многие знали. Но часто слышал, что некоторые из тех, у кого были большие сроки или за плечами несколько командировок, освобождаясь, не оседали в городах, а уезжали поближе к природе; а ещё были такие, кто забирался в самую глухомань и там оставался отшельничать: в одиночестве, в тишине, в безлюдье — в природе. Скорее всего, именно этого не хватало за колючей проволокой, где душа радуется каждой травинке и тёплому солнечному лучу, муравью, кто ползёт по земле, и каждому голубю, пролетевшему над головой. И казалось, что он — этот голубь — и есть сама свобода.

Голуби летят над нашей зоной,
Голубям преграды нигде нет.
Как бы мне хотелось с голубями
На родную землю улететь.

Витька не заметил, как запел. Тихо запел, для себя одного. А потом опять задумался. Ох ты, волюшка моя, воля! Как же ты ночами снилась. Как же хотелось на свободу, а в то же время страшился её. А в последние годы домой потянуло, раньше такого с ним не случалось. Для него домом была бескрайняя страна и знакомые, кто принял бы его, накормил и напоил, а дальше уж — что Бог на душу положит. А в последние годы стал деревню вспоминать. Странно это было и непонятно. Непривычно, лучше так сказать. Бабу Матрёну вспоминал с вечно хмурым лицом, её руки с распухшими суставами и единственную обувь — обрезанные валенки — топтыши, в каких она шлёндала как по дому, так и по улице. И природа вспоминал — это ещё больше его удивляло. Никогда не обращал на неё внимания. Речка — она и есть речка. И лес за деревней, что шагнёшь два шага — и заблудишься. Холмы вокруг деревни. Большие холмы, травой и ковылём заросшие. Луга в хмельном разноцветье. А черёмухи столько, что казалось — облака над деревней собирались. И дух, от которого голова кругом идёт. И это всё стало приходиться к нему ночами. Душу бередило. И он ворочался до утра, вспоминая деревню и всё, что связано с ней...

И, вернувшись, Витька Орлёнок долго посидел на холме. Он слушал вечернюю деревню, звуки, что доносило ветром, а там протарахтел трактор и затих вдали, порыв ветра донёс полынную горечь, терпко пахнуло влажной землёй, зашуршала трава, и зашелестела листва на берёзках. А он сидел и не мог наслушаться. Смотрел вокруг и не мог насмотреться. Хотелось вскочить, раскинуть руки, разбежаться, закричать, как в детстве бывало, и взлететь над деревней,

над холмами, над землёй... А раньше, когда освобождался, такого за ним не водилось. Или просто не видел этого — он не знал. А потом, во время последней отсидки, ему сказал один старый сиделец, который уж на ладан дышал, что придёт время — и его потянет на волю. Так потянет, что он будет дни и ночи считать, каждую минутку и секунду, чтобы выйти на свободу, и перед ним откроются дали дальние, аж дух захватывает, и он будет радоваться каждой травинке, каждому кусточку и птичке, что на ветке сидит. Но для этого нужно время, чтобы понять свою душу и принять решение. Постепенно подходишь к этим порогам. Пороги жизни, как назвал старик. Что бы ни случилось, нужно остаться человеком — это главный порог в жизни, через который нельзя переступать. Иначе, если перешагнёшь, но в то же время убьёшь в себе всё человеческое, тогда возврата не будет — в ничто превратишься. Но есть ещё другая сторона того же порога, и если сможешь его переступить и при этом остаться человеком, значит, ты перешагнёшь через себя, через всё плохое, что было в твоей непутёвой жизни, и тогда это плохое останется в прошлом, а ты уйдёшь, куда манит душа и подсказывает сердце. Ну а если не сможешь перешагнуть и начнёшь топтаться на одном месте, значит, так и останешься прежним собой и внутри себя. Витька часто вспоминал этого старичка. Да, наверное, он был прав, когда говорил про пороги. У каждого человека есть свои пороги, через которые можно и нельзя переступать, но не каждый сможет это сделать. Вся наша жизнь — пороги. По одним, как по ступеням, вверх поднимаешься, а по другим спускаешься. И чем ниже опустишься, тем меньше в тебе человеческого достоинства остаётся. А вот сможешь ли снова подняться — никто не знает, и ты — тоже. И эти пороги тянутся с самого рождения человека и до последнего его часа...

Витька поднялся. В предутренних сумерках пошёл к фотографиям, висевшим на стене. Как-то раньше не обращал на них внимания. Ну, висят у бабки Матрёны — и пусть висят, хлеба не просят, а сейчас потянуло к ним. Он стоял и смотрел. Вот бабка Матрёна ещё молодая. А это дед Назар, которого Витька не видел, но знал по рассказам бабки. Она говорила, недолго жили. Дед Назар с войны вернулся. Болел. Весь израненный был, живого места не найти. Дочка родилась — Витькина мать. Понячиться не успел, как умер. Осколок сдвинулся — и всё, нет человека. А вот две фотографии — это мать на них. На одной ещё в школе фотографировали, а на другой постарше. В газету снимали, как Витька помнил. Она стояла возле правления: нахмуренная и напряжённая, готовая заплакать. Так и вышла на снимке. А рядом с матерью портрет Сталина, вырезанный из газеты. Видать, и правда Витькин отец похож

был на него. Много лет прошло, как матери не стало, и Витька стал забывать её. Проходят годы, и начинают стираться лица людей и события. Так, кружатся отрывки из прошлого, а воедино собрать эту мозаику не получается. Но в то же время никуда от воспоминаний не денешься. Так и будут они преследовать тебя до последнего дня, напоминая о прошлом...

И получается, что прошлого-то не было вовсе, так, одни обрывки воспоминаний — и всё на этом. Но всё равно что-то да остаётся. Он частенько вспоминал, как с бабкой Матрёной картошку сажал. То в одну ямку сразу две штуки бросит, то вообще мимо пройдёт, а сам ногой старается засыпать, чтобы бабка Матрёна не заметила, а она заметила, сломила ветку и навжикала ему. Нет, не больно, а смешно было. Она лупит, а он смеётся. Она ещё сильнее вжикает, а он громче заливается. Так и отпустила его. Посидела, посмотрела на него и тоже затряслась в мелком смешке, лишь морщинки разбежались возле глаз. Так и сажали картошку, то смеясь, то ругаясь, то снова закатывались. А в конце огорода, когда всё посадили, бабка Матрёна напекла картоху. Ух, до чего вкусная была! До сих пор вкус помнит. Но самое интересное, что в тот год картошки уродилось — уйма, как никогда, сказала бабка Матрёна. Наверное, смех подействовал...

Витька Орлёнок вздохнул. Н-да... Это было давно, а сейчас вернулся и растерялся. Нет, скорее всего, отвык за долгие годы от этой жизни. Ночами снилась деревня, а приехал — и места себе не может найти. Людей опасается. Не знает, как его встретят. Ну, понятно, что не хлебом с солью, не очень-то и рады будут. Да и кому радоваться, если никого не осталось?..

Потоптавшись, он вытащил рубашку. Сбросил одежду, в которой приехал. Переоделся. Постоял, осматриваясь, потом сунул бутылку в карман и огородами подался на кладбище. Слово дал себе: когда вернётся, на мазарки ходит, бабку Матрёну и родителей проведает...

Долго пробыл Витька Орлёнок возле могил. Раньше бывал, но с бабкой Матрёной. Не любил сюда ходить. Здесь мрачно даже в солнечный день. Могилки между берёзами, а кроны широкие, солнце закрывают, и поэтому на кладбище всегда был зелёный полумрак. Он потоптался возле заросших и провалившихся могил. Поглядел на другие, как у них сделано. Скинул рубаху и принялся наводить порядок. Пока траву повыдирил, пока землю притащил да подправил, глядит, солнце в зените, а он и не заметил. Всё переделал, осталось лишь оградки да памятники покрасить, и всё на этом. И бабке Матрёне нужно памятник поставить. Крест подгнил, едва держится. А у матери и отца даже фотографий нет. И Витька решил, что заберёт со стены снимок матери и фотографию Сталина,

съездит в ателье, закажет снимки на памятники и таблички сделает. Негоже, что они в безликих превратились...

Домой отправился и не смог пересилить себя. Не пошёл деревней, где много любопытных глаз, а завернул к речке. Скинул одежду. Поёживаясь, шагнул в воду. Охнул, скрывшись с головой. Вынырнул, отфыркиваясь, и сажёнками поплыл на другую сторону, как в детстве делал. Там была песчаная коса. Выбрался. Вздрагивая от холода, долго лежал на песке, подставляя под солнечные лучи худое, синюшное от холода и наколок тело. Лежал, о чём-то думая. Редкий раз вздрагивал, когда доносился чей-нибудь крик или гавкали собаки, а потом снова прижимался к тёплому песку, поглядывая по сторонам. Хорошо тут, как в детстве. Давно было. Так давно, что уж забыл многое, а всё равно память возвращает туда, хочет он этого или не хочет. Казалось, не было детства, мало светлых дней и событий, а всё равно тепло разливается в душе, когда вспоминает. И сейчас из этих прожитых лет смешными кажутся ссоры и драки с пацанами, когда до крови лупили друг друга, а потом ещё и дома доставалось, если приходили соседи, а они обязательно приходили и жаловались на него. Может, эти драки как-то закаляли его и пригодились в жизни, когда не только словом, но и кулаками приходилось доказывать свою правоту. Всё может быть...

Он переплыл обратно. Натянул на мокрое тело одежду. Взглянул на солнце и зажмурился. Хорошо-то как! Донеслись детские голоса. Витька хотел было уйти, но раздумал. Немного отошёл в сторону, чтобы не мешать, уселся на краю обрыва, закурил и стал смотреть, как пацаны купались, о чём-то спорили, и не обходилось без подзатыльников. Гляди ж ты, как в нашем детстве, закурил головой Орлёнок. Ничуть не изменилось. Всё так же, как в прошлом. Неподальку взбрыкнул бело-рыжий телёнок и помчался по вытоптанному кругу на привязи. А Витька помнил, что у них даже козы не было. Бабка Матрёна болела. Ноги не шагали, как она говорила, и поэтому держала всего с десяток кур. А молочко, чтобы чай забелить, соседи приносили. А много ль нужно двоим-то? Всего ничего. Весна наступала, и Витька с пацанами переходил на подножный корм, как они смеялись. А ещё рыбу ловили. Пескариков или вьонков с палец наловят и над костром жарят. Несолёные, но вкусные — страсть! А там ягоды и грибы начинались. Яблоки созрели, и картошка появилась. Правда, зимой туговато было. Одежда старенькая, дыра на дыре, валенки шиты-перешиты, и рукава почти до локтей, но не жаловался, словно так и должно быть. Гляди ж ты, а говорил, что детства не было. И Витька усмехнулся. Было. Какое-никакое, но было детство. А что по лагерям пошёл, так, видать, не по тем ступеням шагал, не

через те пороги переступал, но всё равно, что бы ни случилось, всегда оставался человеком — это главное...

Уже на подходе к дому Витька увидел, что по двору ходит участковый. Видать, его дожидается. Орлёнок нахмурился. Зыркнул по сторонам. Никого не видно. Заскрипел калиткой. Уселся на ступеньку, достал мятую пачку дешёвых сигарет и закурил.

— Здоров был, — сказал участковый, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. — Я уж заждался. Говорят, видели тебя. Пришёл, а тебя Митькой звали. Уже умызнул. Опять отмечаешь освобождение?

— Здоров, Петрович, — буркнул Витька старому участковому. — Я уж думал, тебя давно на пенсию списали. Сидишь дома и курочек разводишь, огурчики-помидорчики выращиваешь, и люди радуются, что самогонку не отнимаешь и плешь не проедаешь, а тебе всё неймётся. Что тебя принесло?

— Не ворчи. Мне ещё рано на пенсию. Не всех на путь истинный наставил, — устало сказал Петрович и достал папку. — Приехал, а кто отмечаться будет, а? — и тут же вздохнул, взглянув на старый дом и захламлиненный двор. — Эх, жаль, что бабка Матрёна не дождалась тебя. Всё убивалась, как ты станешь жить. Мы за домом присматривали, чтобы никто не сунулся. Она ждала тебя. Каждый день возле двора сидела и на дорогу смотрела. Ждала...

— На кладбище был, — не поднимая головы, сказал Витька. — На могилки ходил. Некому присматривать. Пока убрался, пока порядок навёл — время пролетело, и не заметил. А потом на речку завернул. Искупался. Не поверишь, Петрович, словно в детстве бывал. На душе легче стало...

Вскинулся, сказал восторженно, а потом сник, закурил и замолчал, посматривая вдаль. Наверное, детство вспоминал, а может, свою непутёвую жизнь...

Участковый взглянул искоса, но промолчал.

Где-то зашумел трактор. Протарахтел мотоцикл. Промчалась стайка мальчишек. Наверное, играют. Старуха, в юбке до пят, в тёплой безрукавке и в тёплом платке, опираясь на клюку, остановилась напротив, приложила ладонь к глазам, долго смотрела на них, хотела было открыть калитку, но раздумала, лишь головой покачала, здороваясь, поправила платок и неторопливо зашагала по узкой заросшей тропке.

А Витька Орлёнок продолжал сидеть и смотреть вдаль. Отсюда, с пригорка, где стоял Матрёнин дом, хорошо было видно окрестности. Вдали темнела опушка леса. Большой он, этот лес, и густой. Опасно одному ходить. Заблудиться можно. Собирались по несколько человек и шли туда за грибами и ягодами, постоянно перекликаясь в лесной

чаще. А перед лесом в обе стороны — бескрайние поля. Бывало, когда созреет хлеб, солнцем освещит — и поле золотом горит. Конца и края не видно, аж дух захватывает. А там речка протекает. Вроде небольшая, кружится между кустами да холмами, но быстрая и глубокая, а холодная — страсть! Зато вода чистая и рыбы много. И отсюда вся деревня как на ладони видна. Там школа находится. Вон в школьном саду яблони растут. Ближе к дороге магазин стоит и неподалёку клуб. Над правлением флаг полощет на ветру. Машины возле крыльца. Наверное, командировочных прислали. Работа всегда найдётся. По улице снова промчался мотоцикл и исчез в проулке. А там виднеется крыша дома, где Танька Рощина живёт...

— Что молчишь-то? — толкнул локтем участковый. — Зову, зову, а он не шевелится. Ты, случаем, не выпил?

И подозрительно повёл носом, принюхиваясь.

— На могилках выпил, — вздрогнув, сказал Витька. — Немного. Бабку Матрёну и родителей помянул. Думаю, памятник нужно поставить. Крест совсем повалился...

— А что-нибудь кушал сегодня? — неожиданно сказал участковый. — В пустой дом приехал.

Витька пожал плечами. Он не привык много есть.

— Ладно, помогу. Не отмахивайся, не в лагере. Ишь ты, сразу взъерепенился — с ментами дело не имеешь! Гляньте на него, какой гордый.

И правда, весь в отца пошёл — этой гордостью. Здесь свои законы — деревенские. Поможем всем миром, и не трепыхайся. Выделю мешок картошки и ещё чего-нибудь соображу. К вечеру подвезём. На первое время хватит, а там что-нибудь придумаем, — хлопнул по колену Петрович. — Ну а как жить собираешься? Опять за старое возьмёшься? Пора бы остепениться...

— Как жить буду... — Орлёнок пожал плечами. — Наверное, по-человечески, если примут в деревне, — задумавшись, сказал он, всматриваясь вдаль, а потом ткнул пальцем: — Глянь, Петрович, как черёмуха цветёт, а запах — аж дух захватывает. Эх, красота! Ночами снилась...

И опять плечи поникли.

— Примут деревенские, — вздохнул участковый. — Никуда не денутся. Всё от тебя зависит. Человеком будь, а не...

Он замолчал и, приложив широкую ладонь к глазам, посмотрел вдаль.

Повсюду, куда ни глянь, над домами повисли черёмуховые облака, и запах — аж дух захватывало.

— У каждого человека свои пороги в жизни. Так люди и шагают по ним с самого рождения и до своего последнего часа. Вот и я свой очередной порог переступил, когда подошло время, — сказал Витька Орлёнок и не удержался, снова ткнул пальцем в цветущую черёмуху: — Эх, красота какая! Взгляни, Петрович...

А над двором кружилась стая голубей...